

С. Н. ДУРЫЛИН

«В. В. Розанов»

1922

Летом 1918 г. Василий Васильевич Розанов привез ко мне в Москву из Посада маленький тючок, развернул и сказал: "Вот это прошу Вас отдать куда-нибудь на сохранение. Сберегите. А после моей смерти отдайте моим детям". В тючке были, в больших незапечатанных конвертах, листочки, зачерненные мелким-мелким бисером его, единственного по нежной тонкости и по неразборчивости, почерка: продолжение "Уединенного". Я с радостью, не отрываясь, смотрел на это богатство. Но Василия Васильевича занимало что-то другое. Он рассеянно смотрел на конверты с листочками, почти не слушал, что я ему говорил, перелистнул какую-то книгу, лежавшую на столе, — и вдруг, решительно вытянув из внутреннего кармана пиджака какой-то запечатанный конверт, подал мне его и сказал:

— А вот это сберегите; когда умру, соберите Варю, детей, распечатайте, — и прочтите им.

Я принял конверт: он был мят и грязноват.

Сказав то, что сказал, и вручив мне конверт, он ничего не прибавил в пояснение.

Все, что он просил, было исполнено.

Когда он умер, пакеты с листочками были мною переданы его семье, а запечатанный конверт я предъявил Варваре Дмитриевне, собрав Таню, Надю и Александру Михайловну в той маленькой комнате в доме Беляева на Красюковке, которая служила столовой и была рядом, дверь в дверь, с комнатой, где он умер.

Я распечатал конверт и выложил на стол все, что там было: две, помнится, небольшие записные книжечки в клеенке, два-три листочка, — и старое, пожелтелое письмо... Книжечки мы перелистывали: там были какие-то незначащие или нам показавшиеся такими, записи, пометки делового характера, немало пустых страниц... Ничего в них не было такого, что объясняло бы их присутствие в запечатанном конверте, назначенном к посмертному вскрытию. Книжечки принесли недоумение. Зачем их было запечатывать? В это время Варвара Дмитриевна взяла пожелтелое письмо, — и только глянула — воскликнула:

— А! Вот это... — и протянула мне:

— Читайте.

Я стал читать вслух. Почерк был Василия Васильевича, но несравненно четче, чем знакомый мне: было видно, что письмо, — или, точнее, то, что я читал, — было написано много лет назад...

Я читал — и дух останавливался.

Это был рассказ о первой женитьбе Василия Васильевича на Аполлинии Прокофьевне Суловой, любовнице Достоевского, о их супружеской жизни и о конце этой жизни — и, главное, о том, что вынес в этой жизни Василий Васильевич. Рассказ был написан, надо думать, в самом начале 90-х годов — ив определенное время: тогда, когда Василий Васильевич был уже женат на Варваре Дмитриевне. Рассказ весь строился по контрасту: что было тогда, при Суловой, и что стало теперь, когда при нем Варвара Дмитриевна. О "теперь" он, впрочем, ничего в

письме, сколько помню, не говорил: "теперь" — это было глубокое, полное счастье. Это было счастье в онтологии, если можно так сказать, счастье от корня бытия, счастье от "лона Авраамова", полученное от "Бога Авраама, Исаака и Иакова". В счастье этом с Варварой Дмитриевной открывалась вся та нежность, успокоенность и глубина родовой мудрости, которые всегда видел в таком счастье Василий Васильевич, как писатель. Когда писалось то, что я читал, этим счастьем в онтологии Василий Васильевич обладал и был насыщен им, как библейский старец — днями, — и вдруг, как отошедшая ужасная боль, припомнилось ему в "лоне Авраамовом" то, что до безумия противоположно было этому лону и в чем он жил шесть лет: счастье из глубин онтологии представило ему до ясности недавнее "счастье", искомое в психологии, — и какой еще! В "психологии" бывшей любовницы Достоевского, 40-летней женщины, про которую можно было бы повторить евангельские слова: "У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе"¹. Василий Васильевич ранее рассказывал мне как-то, что женился на Суловой потому, что она была любовницей Достоевского. Это был брак от "психологии", брак по Достоевскому, — но совсем не по Розанову, не по автору "Семейного вопроса" и "В мире неясного и нерешенного". Брак — из романа Достоевского, а не из лона Авраамова. Она была старше его на 16 лет: она уже сильно "пожила", — не только с Достоевским, но (знал ли это Василий Васильевич, когда женился?) и с нигилистами, и с иностранцами, и с красивыми испанцами. Об этих "испанцах" в письме не было, это я знаю уже из книги, заглавие которой выписано выше, но в письме было яркое, мучительное до боли, просто стонущее противопоставление того, что Розанов искал и что нашел в 40-летней даме с нигилизмом. Романтика: "та, кого любил Достоевский!" — оборвалась, психология по Достоевскому вдруг обернулась психологией тончайшего, непрерывного женского мучительства. Произошло недоразумение, идущее до глубины, расщепляющее саму жизнь: несмотря на "романтику", на "Достоевского", он-то искал брака не по психологии, а по онтологии, а сам оказался в плену у брака по психопатологии. Вместо греющего добрую плоть нежной семейственности "Бога Авраама, Исаака и Иакова"² оказалось озлобленное безбожие шестидесятницы с постелью "принципиально" бездетной; вместо возлюбленной и нежной — озлобленная, умная, как бес, и злая, как бес, полу-нигилистка, полу-Настасья Филипповна (из "Идиота"), кому-то и чему-то непрерывно мстящая; вместо чаемой "колыбельной песни" в спальне раздавался психопатологический визг стареющей, ломаной и ломающейся женщины — "непрерывным раздражением пленной мысли", озлобленной души, стареющей плоти. Начался ужас. Этот ужас сквозил в каждой строке, в каждом слове, в каждом вздохе этого письма, — и я не могу лучше и точнее выразить этого ужаса, как сравнением: тот, кто хотел возлежать, как герой "Песни песней", на нежном и плодящем лоне, входящем в неистощимое, присно рождающее и святое лоно Авраамово, тот оказался прикованным к колющей постели стареющей, бесплодной, чувственной и истеричной нигилистки, мстящей Достоевскому, как Грушенька своему покровителю.

Течение письма прерывалось восклицаниями: "Она измучила меня! Она ненавидела меня!" {В дневнике Сулова писала 24.IX.1864 г.: "Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья в наслаждении любви, потому что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания" (с. 923).} (Достоевский предупреждал ее: "Если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа"³).

Теперь, когда с ним была Варвара Дмитриевна, все это видел Василий Васильевич и мог кричать это ей с особой силой, так как в Варваре Дмитриевне он нашел то нежное, пробуждающее мудрость и дающее покой — лоно, которого искал и у той, но нашел нигилистические иглы вместо лона.

Письмо было потрясающее. Любовь и ненависть, благословения и проклятия сплелись в нем. В нем был крик спасшегося от гибели, крик с берега, — волне, которая только что била, хлестала его, чуть-чуть не разбила о камень, и вот он все-таки выбрался на берег, жметя к тихому и теплому лону земли, а волне шлет проклятия.

Когда чтение было окончено, Варвара Дмитриевна — земля с тихим и теплым лоном — приняла у меня письмо, — заплакала — тихо и кротко.

Все молчали.

Мы поняли все смысл этого загробного чтения: Василий Васильевич хотел, чтобы и дочери его знали, кто был бьющей о камень волной и кто был прекрасно-творящей землей в его жизни.

Что случилось с этим изумительным письмом (гениальным с точки зрения словесности), я не знаю.

Много лет спустя, уже в середине 900-х гг. Василий Васильевич во второй раз рассказал о Сусловой уже в письме к чужому — к биографу Достоевского А. С. Волжскому⁴ {Биографию он так и не написал, а письмо розановское отдал, здорово живешь, Гроссману. Тот напечатал его с несколькими строками своих объяснений в "Русском современнике", подписался Л. Гроссман, получил гонорар и славу первого обнародователя интереснейшего документа для биографии Достоевского. Когда в 1925 г. Волжскому пришлось поехать в Семипалатинск по делам и он, желая покопаться в тамошнем архиве о Достоевском, попросил у Гроссмана какую-нибудь бумажку от Академии, тот ничего не дал. Урок простакам.}.

Теперь вот книга вышла о Сусловой. Все это и вспомнилось. О Розанове в ней говорится, что он "один из лучших истолкователей (Достоевского), потому что был он во многом ему конгениален" (с. 5). В примечании (с. 173) сказано о Розанове, что он "талантливейший публицист, критик и мыслитель", отец целой школы истолкователей Достоевского, но что он же "представляет собою удивительную смесь различных черт как положительных, так и отрицательных героев Достоевского", и в "Новом времени" писал "ради высокого гонорара нередко то, во что сам не верил" (с. 173).

Показания Василия Васильевича о Сусловой все берутся автором под сомнение, все почти отвергаются, так как Василий Васильевич, "по-видимому, всю жизнь испытывал к Сусловой глубочайшую ненависть в соединении с неискоренимым восхищением" (с. 7). Последнее вовсе несправедливо: ни в конце 90-х, ни в 900-х гг. не было никакого "восхищения". "Ненависть" же была понятна: она ему, безвинному, мстила тем, что в течение почти двух десятков лет ни под каким видом не соглашалась на развод, так что "дети его от второй жены долго не могли носить его фамилию" (с. 41). Долинин⁵ не знает, что для Розанова это несогласие этой дамы на развод грозило ссылкой в Сибирь: он не просто жил с Варварой Дмитриевной и имел от нее детей, которые не могли носить его фамилии. Это было бы полбеда. Дело в том, что Василий Васильевич был тайно обвенчан в церкви с Варварой Дмитриевной. Если б это открылось (Победоносцев знал это, но, по благородству своему, молчал), Василий Васильевич, как двоеженец, подлежал бы не только церковным, но и гражданским карам — разлучению с женой, с детьми и ссылке на поселение. Когда детей надо было

отдавать в школу, а они были без фамилии отца, Бутягины, а не Розановы, Тернавцев поехал в Крым убеждать Суслову дать Василию Васильевичу развод⁶. Вернулся ни с чем и сказал: "Это не баба, это — черт в юбке!" Василий Васильевич соглашался с женой Достоевского, что Сулова была "цинична". Этот цинизм и чувственность, сопровождаемые злобной, мечущейся серостью души и жизни, преисполняют ее "Дневник". Даже сам защитник ее должен признать, что после разрыва с Достоевским ее постигает "падение": "катастрофическое понижение всего диапазона ее душевных переживаний, ставших вдруг (! конечно, всегда и бывших. — С. Д.) какими-то маленькими и мелочными"; "явно ощутимая пошлость, которая проявляется теперь в ее отношениях с окружающими ее людьми" (с. 33). На этом тягостном фоне "мелькают, точно серые сумеречные тени, лишенные яркости и глубины, герои романа на час, игру в любовь с которыми она подробно описывает" (там же). "В той плоскости, в которой она ими интересуется (чувственной! — С. Д.), они (ее "безымянные герои" — С. Д.) ведь так похожи друг на друга, затушеванные под своей национальностью (валлах, грузин, англичанин, француз) или под профессией (лейб-медик), — она непременно дарит свое внимание каждому из них" (с. 34).

Но злобствует она на них, на этих мимолетных валлахов и испанцев своих, не меньше, чем на Розанова: "Знаю, что пока существует этот дом, где я была оскорблена {Испанец изменил ей.}, эта улица, пока этот человек пользуется уважением, любовью, счастьем, — пишет она в дневнике (с. 77, 7 января 64 г.), — я не могу быть покойна... Я была много раз оскорблена теми, кого любила, или теми, кто меня любил, и терпела... но чувство оскорбленного достоинства не умирало никогда, и вот теперь оно просится высказаться. Все, что я вижу, слышу каждый день, оскорбляет меня, и, мстя ему, я отомщу им всем. После долгих размышлений я выработала убеждение, что нужно делать все, что находишь нужным. Я не знаю, что я сделаю, верно только то, что сделаю что-то. Я не хочу его убить, потому что это слишком мало. Я отравлю его медленным ядом, я отниму у него радости, я его унижу" (с. 77).

Эти фуриозные строки объясняют ее всю. Все это она хотела сделать с изменившим ей испанцем Сальвадором, ради которого она изменила Достоевскому, — но с испанцем сделать этого ей не удалось, а удалось сделать с Розановым. Еще в 1886 г. Розанов просил у нее развода, она отказывала, что явствует из письма к ней графини Салиас⁷: "Смотрите, чтобы этот муж, которого вы насильно желаете быть женой, не наделал вам бед" (с. 43).

Но бед наделал не он ей, а она ему.

История очень проста.

Когда Василий Васильевич нашел свою Рахиль, свою Варвару Дмитриевну, он понял, что с нею нашел свое гениальное писательство, нашел себя, счастье свое и семью, — но, обретши Рахиль, понял также, что до Рахили у него была не кроткая, хотя и не любимая Лия, а неистовая Медея. Муки от Медеи, претерпленные Иаковом, всегда мечтавшим иметь нежно возлюбленную Рахиль, — вот — в свете книжки о Суловой — все содержание того письма, которое я читал по воле Василия Васильевича самой этой Рахили и чадам ее, когда уже самого Иакова не было в живых.

Медея — на то она и фуриозная особа — не могла перенести, что оставивший ее Иаков счастлив со своей Рахилью, — и, как и подобает Медее, мстила не только Рахили, но и детям их. На детях-то и проявляется нарочитая Медеина месть: пусть будут без законного отца (как ненавидел Василий

Васильевич эти слова: "незаконные дети" и "законные дети"), с поношением подвергающейся матерью, пусть будут они без имени. Так Медея мстила почти двадцать лет; старуха под 70 лет, она настолько не теряла своей фуриозности, что всякие виды выдавший, твердый мужчина победоносцевской школы, Тернавцев воскликнул не менее фуриозно: "не баба, а черт в юбке".

13.VI. К характеристике Медеи: в Монпелье она сблизилась с женой Огарева (Тучковой)⁸, перешедшей в жены к Герцену. "То она хочет, чтоб женщины жили отдельно от мужчин, чтоб не вмешивать в жизнь семейную все дразги хозяйства и видеть только в свободное время (уж не сераль ли), то не хочет, чтоб женщина выходила замуж и, паче всего, чтоб не иметь страстей, то хочет выселиться из Европы и составить братство, но нет еще товарищей... Наконец, сегодня мы с ней как будто договорились. Я говорю, что пользу нужно приносить (ее курсивы. — С. Д.), хоть одного мужчину читать выучить...

— Нет, не то. Нужно, чтобы цивилизованные в ... (неразобрано одно слово) составили для модели общество, в котором бы не венчались и не крестили детей, написали бы книжки для русского народа.

— Но как составить такое общество? Пожалуй, никто не пойдет.

— А Лугинин и Усов?⁹

Я просила считать меня кандидатом" (с. 119).

Розанов — и кандидатка такого общества! Жить с нею долее значило бы для него не стать Розановым, автором "Семейного вопроса", "В мире неясного", всего, что писано им о поле и браке. Против нее вопияла вся его онтология, все зерно его писательства, дремавшее в нем и вырвавшееся наружу не пустоцветом ("О понимании"), а истинным цветением и плодом только с Варварой Дмитриевной: нашел он Рахиль свою — нашел и гений свой. Связано. Накрепко. Неразрывно. Вот кто была его Музой всегда — Рахиль бесписьменная, тихая, без шумной "близости" с Достоевским, без знакомства с Герценом и его Тучковой-Огаревой, но зато без "испанцев", без "психопатологии", с одной мудрой онтологией "ложе нескверного", — с любовью великою, — вот кто была его музой — Варвара Дмитриевна. Этого тоже не могла никогда простить Медея. Она спала с Достоевским, рассуждала с Герценом, и вдруг от нее и при ней ничего, ничего не явилось розановского — ничего, кроме огромного — далекого от гения Розанова — трактатища "О понимании", а при этой — при семейственной, скромной Рахили, которая с Герценом не только не разговаривала, но и не читала, рождается не только ребенок за ребенком с лона, не оскверненного ни с каким испанцем, но и книга за книгой рождается у Розанова, — и какие книги: "Легенда о Великом Инквизиторе" (СПб., 1893) {Вот что о ней пишет тот же Долинин, к чести его сказать: "Критика школы символистов (Мережковский, Лев Шестов, Волынский, Вяч. Иванов и их ученики) только углубляет и расширяет те основные положения о Достоевском, которые впервые были высказаны Розановым в его замечательной работе "Легенда о Великом Инквизиторе"" (СПб., 1893, с. 173).}, "Сумерки просвещения", "Религия и культура", "Природа и история", "В мире неясного и нерешенного", "Литературные очерки", "Около церковных стен" и т. д. Как же это перенести книжной Медее, что русская литература ей ничем не обязана, а скромной Рахили — всем? Впрочем, и ей обязана русская литература: ее, Медеиной, мстью детям Розанова, ее упорным удерживанием этих детей от Рахили на положении "незаконных" ("законными" были бы дети от бесплодной Медеи) вызвана та страстная защита прав "незаконных детей", которую Розанов

повел так горячо и твердо в "Семейном вопросе в России", в газетных статьях, что из русского законодательства исчез самый термин "незаконнорожденные".

А она, действительно, имела в себе что-то фуриозное, — даже до комизма. Медее свойственно возиться с ядами. Она и тут не отступила от греческого прообраза. "Потом она (Медеея _ 2: "Тучкова-Огарева", перешедшая к Герцену —) просила меня достать ей яду через моего доктора. Я, как особа без предрассудков, гуманная и образованная (— Медее ли стесняться в высокой оценке самое себя!), обещала ей, но я не знала, как было приступить к моему доктору с такой просьбой..." (с. 119) {Доктору, утешавшему ее после одной операции, что она будет "иметь детей", она ответила, что это ее "ничуть не утешает". "Почему же?" — "Потому что я не умею их воспитывать" (с. 121).}.

С добытчицей ли яда было жить бедному Василию Васильевичу, человеку семейному и тихому, с рыжей бородашкой и папирской во рту?

13.VI. P.S. Долинин называет Розанова человеком, "во многом конгениальным" Достоевскому (с. 5) и "почти гениальным человеком" (с. 42). А вот что приходит в голову: в 60-70 годах атмосфера русской культуры была еще такова, что человек с темой Достоевского, с пафосом Достоевского, с гением Достоевского еще мог выразить себя, благо он был художник (хуже б ему было, если бы он был чистый мыслитель); но в 90-900-х гг. атмосфера русской культуры была уже такова, что человек, Достоевскому "конгениальный" и "почти гениальный", уже едва мог не выразить, а выкрикнуть свою тему, свое "Я само" ("я-то бездарен, да тема моя гениальна"), — и уже не в журналах, как Достоевский, а в газете (весь секрет, почему был в "Новом времени", конечно, не в деньгах, а в том, что Суворин давал возможность выкрикнуть о Египте, о "звездном", обо всем, о чем и заикнуться было нельзя у Гольцева в "Русской мысли", у Михайловского в "Русском богатстве" или у Стасюлевича в "Вестнике Европы", или в профессорских "Русских ведомостях", в своем издании на свой риск (сборники и книги). Ныне же человек с темой и воплями Достоевского или "конгениального ему" человека с неугасимой папирской был бы немой: с землей во рту. И сама тема — с землей во рту.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые: Начала. 1922. No 3. С. 45-51, 98 (публ. В. А. Десятникова). Очерк является неопубликованной главой из книги "В своем углу" (М. 1991). Написана в ссылке в 1928 г.

Дурылин Сергей Николаевич (1877—1954) — историк литературы, искусства и театра, поэт, религиозный мыслитель, священник с 1920 г., с середины 1920-х гг. в ссылке. В годы священства читал лекции в Московском богословском институте. По возвращении из ссылки оставил священство и посвятил себя литературно-научной работе. Автор 2-х книг о творчестве М. В. Нестерова. Друг Розанова по Сергиеву Посаду. См. его другую публикацию о Розанове: В своем углу (В. Розанов) // Вопросы литературы. 1991. No 3. С. 237-247. Подробнее о С. Н. Дурылине — см.: Фудель С.И. Воспоминания // Новый мир. 1991. No 3, 4.

1 Евангелие от Иоанна 4, 18.

2 Исход 3, 16.

3 См.: Сулова А. Годы близости с Достоевским. Дневник — повесть — письма. М. 1928 (репринт — М. 1991). С. 129.

4 О Волжском (А. С. Глинке) см. в примечаниях к его статье в наст, изд.

5 Автор предисловия и комментариев в кн.: Сулова А. Годы близости с Достоевским. М. 1928. Долинин (наст. фам. Искоз) Аркадий Семенович (1880—1968) — литературовед, специалист по Достоевскому.

6 В. А. Тернавцев безуспешно ездил по поручению Розанова к Суловой в 1902 г. в Севастополь, надеясь уговорить ее на развод.

7 Салиас де Турнемир (урожд. Сухова-Кобылина) Елизавета Васильевна, графиня (1815—1892) — писательница, известная под псевдонимом Евгений Тур. См. ее письмо в ук. соч. на с. 43.

8 Огарева-Тучкова Наталия Алексеевна (1829—1913) — вторая жена Н. П. Огарева, друга Герцена.

9 Лугинин Владимир Федорович (1834—1911) — революционер, близкий к Герцену; Усов Петр Степанович (1832—1897) — инженер.